

Александр Ладогин

ЛУННЫЙ ДОЛГ

КНИГА ШЕСТАЯ



ЧУЖАЯ СУДЬБА



Александр Ладогин

Чужая судьба

<https://litres.ru/74687214>

SelfPub; 2026

Аннотация

В кармане полковника Корсакова паспорт финляндского плотника Матса Гольма. Но где настоящий Гольм? И почему его исчезновение оказалось так удобно другим?

Декабрь 1808 года. Таинственный переход под Гатчинским Приоратом забрасывает Корсакова на сто лет назад. В будущем остались жена и сын. Чтобы вернуться, придётся дожидаться редкого лунного окна и целый год прожить под чужим именем.

Но чем глубже он погружается в прошлое, тем опаснее становятся открытия. Подложные документы превращают свободных людей в бесправных работников. Загадочный Звездочёт знает о Корсакове больше, чем должен. А в Петербурге стоят величественные сооружения, которых, согласно знакомой ему истории, ещё не существует.

Кто переписал прошлое? Кто распоряжается чужими судьбами? И что, если сам Корсаков оказался здесь не случайно?

Вернуться домой – его цель. Но можно ли спасти собственную жизнь, оставив разрушенными чужие?

Шестая книга цикла «Лунный долг».

Содержание

Глава первая. Приход	4
Глава вторая. Опись	23
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Чужая судьба

Глава первая. Приход

I

Гатчина, подземная камера под Приоратом. 20 декабря 1808 года, воскресенье, без двенадцати четыре.

Фонарь по ту сторону погас, и в ту же секунду длинный рванулся.

Рванулся он не так, как рвался в первый раз, в полный рост, головой вперёд, а вниз и вбок, змеёй, почти лёжа. Ворот вывернулся у Корсакова в кулаках, плечо длинного нырнуло вниз, под его руку, и пальто поехало с этого плеча – пояс был распушен. Когда и какой рукой его распустили, Корсаков не видел: это случилось в ту пустую звенящую секунду, когда он не понимал, кого держит. Длинный вывернулся из рукавов, как выворачиваются из мокрой рубахи, и ушёл по полу вдоль южной стены, в темноту, унося на правом запястье петлю шнура.

Корсаков сделал то, чему его учили и что тело сделало раньше головы. Он не потянул на себя. Он навалился вперёд, всем весом, туда, где мгновение назад была спина, чтобы прижать её к камням и не дать ей лечь в круг.

Спины под ним не было.

Под ним было пустое пальто, и камни кольца, и за камнями

ми – мутная, тяжёлая, холодная стена, стоявшая от пола по плечи. Он ударился о камни коленями, перевалился через них грудью и вошёл в кисель так, как входят в воду с мостков, не рассчитав: плашмя, с открытыми глазами, с пальто в кулаках.

Кисель сомкнулся вокруг него, как ледяная вода, и движения сразу стали вязкими. Заложило уши. Звон, который всё это время стоял в камере, стал не звуком, а давлением, и давил он изнутри головы наружу. Сквозь муть он видел пол – свой пол, мокрые плиты, полосу лунного света, – и видел, как полоса тускнеет у него перед руками и уходит в камень.

Потом стало темно.

Он лежал лицом вниз на камне, мокрый от чего-то, чего на нём не было, и камень под ним был сухим.

Это он понял раньше, чем понял, что жив и цел. Плиты в его камере всегда были мокрыми: в ноябре и декабре по ним стекала вода из устья северной щели, и он за год привык ставить колени так, чтобы не скользить. Эти плиты были сухими, шершавыми, холодными и пахли пылью.

И ещё пахло свечой. Только что погашенной, тёплым воском и чадом фитиля, тем запахом, который держится в комнате минуту, не больше, и который нельзя спутать ни с чем.

Он поднялся на колени. Пальто длинного было у него в руках – он так и не разжал кулаки. Он бросил его рядом, на пол, и стал шарить руками перед собой.

Камни кольца были на месте. Те же, не те же – в темно-

те не разберёшь. Он нащупал один, второй, третий, пополз вдоль них на коленях, ведя ладонью по каждому, как ведут по клавишам в темноте, не зная, на каком будет звук. Круг был цел. Над кругом не было ничего: ни мути, ни холода, ни звона. Воздух был просто воздух, неподвижный, пыльный, со свечным чадом.

— Лузгин, – позвал он.

Голос ушёл в темноту и не вернулся, не отразился даже от стен. Камера была та же, четыре на четыре, со сводом, он это чувствовал, но звучала она иначе: глуше, будто на стены навесили войлок.

— Фрол Евсеевич.

Тишина.

Он сел на пятки. Сунул руку в жилетный карман и достал часы – по привычке, той самой, которая за год стала частью тела: перед каждым выходом, после каждого выхода сверить с часами Лузгина. Нащупал крышку, открыл. Стекла не было, он снял его сам, у часовщика на Невском, и под пальцем легко нашлась минутная стрелка: без двенадцати. Он открыл рот, чтобы сказать вслух: «Пятнадцать сорок восемь», – как говорил всегда, чтобы Лузгин откликнулся своим «сорок восемь» или «сорок семь, голубчик, у вас спешат».

И закрыл рот.

Сверять было не с кем. Он закрыл крышку и убрал часы.

Он знал, где он. Знать он не мог, а думал так ясно, что это было почти знанием. В девятьсот пятом году дверь во дворе

на Пушкинской унесла его на сто лет назад и четыре дня в придачу. Здесь, в камере, свет северной щели, по расчётам Звягина, светил из другого века; по ту сторону мути он видел только что старый жестяной фонарь со свечой и человека, который не удивился. Сто лет. Значит, тысяча восемьсот восьмой. Он держал это как гипотезу: в его ремесле человек, который принимает гипотезу за знание, живёт недолго.

Он ещё стоял на коленях, когда в темноте, совсем близко, слева, кто-то шевельнулся.

Шевельнулся не так, как шевелится испуганный, а так, как шевелится человек, который ждал и дождался. Шаркнула подошва. Чьи-то руки, сухие, жёсткие, нашли в темноте его плечо, ощупали, спустились к коленям, и на колени ему лёг узел – тяжёлый, мягкий, пахнувший овчиной и хлебом.

Над самым ухом голос сказал шёпотом, ровно, как говорят заученное:

— Ты из Гельсингфорса. Бумаги сгорели.

Корсаков не ответил. Он не мог бы ответить, даже если бы знал что: эти слова он слышал. Не здесь, не этим голосом, не в этом веке. Ты из Гельсингфорса – это была его собственная легенда, финляндский уроженец, паспорт, выправленный в девятьсот пятом году людьми, которые умели делать биографии. Почерк он узнал раньше, чем успел подумать о нём.

Шёпот отодвинулся. Тот же голос бросил в темноту, уже не ему, громче:

— Ушёл свет.

Из угла, оттуда, где в его камере было устье галереи, юго-восточного, низкого, в рост ребёнка, отозвался другой голос, молодой, глухой:

— Скажу старику.

И шаги – лёгкие, быстрые, удаляющиеся по камню, глубже и глубже, пока их не стало слышно.

Корсаков не повернул головы.

II



Там же, затем Приоратский парк. Вечер того же дня.

Прежде чем вести, человек нагнулся к кольцу, нашарил на полу брошенное пальто, встряхнул и молча сунул ему в руки: чужое у камня не оставляют. Потом взял его за рукав.

Не взял за руку, не подал свою, а прихватил тулупный рукав – Корсаков к этому времени уже натянул тулуп из узла, на ощупь, поверх собственного сюртука, – двумя пальцами, как берут за повод смирную лошадь, и повёл.

Они шли без света. Человек впереди знал ход так, как знают собственный двор: не замедляя шага на поворотах, не нащупывая стен, переступая там, где под ногой был порог, раньше, чем Корсаков успевал его почувствовать. Ход был тот же, Корсаков узнавал его кожей – низкий свод, сырость, поворот налево у восьмой сажени, где в его времени со стены сочилось. Здесь со стены не сочилось. Здесь ход был моложе: камни под ногами ещё не истёрли сто лет шагов.

У двери человек остановился и стал возиться с засовом.

Рука Корсакова, пока он стоял, сама нашла в кармане ключ. Новый ключ, четырнадцатый номер, под расписку у Ипатия Кузьмича, – он выдал его сегодня в два, сказал, что в сочельник ключи выдавать не к добру. Пальцы нашли и скважину – там, где она была всегда, на уровне пояса, справа. Ключ не вошёл: упёрся в железо краем бородки. Скважина была другая: шире, ниже, с иначе вырезанной прорезью.

Он убрал ключ. Двери, от которой он был, здесь ещё не сделали.

Засов подался, дверь открылась, и в ход хлынул воздух – такой холодный и чистый, что от него перехватило горло.

Снаружи были сумерки. Синие, глубокие, декабрьские, те, что стоят в Гатчине в пятом часу, когда солнце уже за

лесом, а темнота ещё не решилась. Снег лежал везде, ровно, по колено, без тропинок, кроме одной – той, по которой они вышли. Над озером, низко, на северо-востоке, стояла Луна, огромная, почти полная, медная, и Корсаков смотрел на неё и понимал, что смотрит на ту самую Луну, которая полчаса назад светила в северную щель. Она светила в обоих веках сразу. Она не знала, что их два.

Над ним стоял Приорат.

Он узнал бы его в любом веке и в любой темноте: острая крыша, башня, белые стены над Чёрным озером, замок из земли, битой слоями в деревянных щитах, – смотритель рассказывал ему об этом с такой гордостью, будто бил её сам. Только стены были белее, чем он помнил, и острее углы, и деревья вокруг стояли ниже, моложе, тоньше. Приорату здесь было лет десять. В девятьсот восьмом ему было сто десять. Теперь Корсаков видел его молодым, и это было неприятно, как бывает неприятно увидеть на старой фотографии ребёнка, которого знаешь стариком.

Человек, который вёл его, в сумерках оказался невысоким, широким, в тулупе, с бородой, сивой от инея. Лет пятидесяти или около того. Лица Корсаков не разобрал. Провожатый за всю дорогу так и не обернулся.

Шли недолго, вдоль стены, затем вниз, к хозяйственным постройкам у кухни, к низкой избе с одним маленьким окном, в котором тускло горел огонь. В избу его не повели. Его повели под неё – в подклеть, полуподземную, с низкой две-

рю на ременных петлях, с земляным полом и лавкой у стены. За стеной, где-то совсем рядом, топилась печь, и стена была тёплой, если приложить ладонь.

— До света сиди, — велел человек. — Утром выведу.

Впервые он заговорил своим голосом — без шёпота, без заученных слов. Голос был низкий, спокойный, с той крестьянской неспешностью, которую Корсаков знал по Ерофею и Никифору.

— Спасибо вам, — сказал Корсаков.

Человек не ответил. Он постоял в дверях — тёмный на синем — так, как стоят, когда прикидывают, всё ли сделано, и, видимо, решил, что всё. Дверь закрылась. Засова снаружи Корсаков не услышал. Его не заперли.

В первый час на чужом месте он замечал всё. Значит, или ему доверяют, или им всё равно, или они знают, что идти ему некуда. Третье было вернее всего.

Чтобы разглядеть узел, он полез в карман за спичками — коробок был там, где лежал всегда, плоский, с тёркой на боку, — и уже выдвинул его, когда пальцы остановились сами. Спички. Он не помнил, когда их начнут делать, но помнил, что не скоро. Свет в щели под дверью увидят с дорожки. А коробок, найденный при обыске, будет вещью, которой нет имени.

Он задвинул коробок обратно и развязал узел на ощупь.

Теперь, при слабом свете из щели под дверью — свет был лунный, луна поднималась, — он разглядел тулуп. Нагольная

овчина, без покрыва, побуревшая, вытертая на локтях, – рабочая вещь, в каких ходят зимой мастера. Тулуп был мал. Рукава доходили ему до середины предплечья, и запястья с манжетами сюртука торчали из них, как у подростка, из всего выросшего. Полы на груди не сходились на ладонь. Человек, который носил этот тулуп до него, был ниже его на голову и уже в плечах.

Отметил – и выбросил из головы.

В узле лежали полкаравая ржаного хлеба, ещё тёплого изнутри, и холщовая тряпица. Хлеб был тяжёлым с одного края, и, разломив его, он нашёл в мякише, завернутую в тряпицу, монету: крупную, серебряную. Рубль. Он поднёс его к щели. Профиля разобрать не смог, только гурт под пальцем и год – «180», а последняя цифра стёрлась.

А в подкладку тулупа, у ворота, изнутри, была воткнута игла. С ниткой, намотанной на неё восьмёркой, чёрной, суровой.

Он долго держал эту иглу в пальцах.

Хлеб – понятно. Тулуп – понятно, на дворе декабрь. Рубль – тоже понятно, без денег здесь не проживёшь и дня. Но иглолка с ниткой, воткнутая заранее туда, где её найдёт тот, кто наденет тулуп, – это было уже не милосердие. Это был опыт. Здесь знали, что тому, кто приходит, будет что зашивать.

Он мог ошибаться. И всё же держал иглу как улику.

Потом сел на лавку, спиной к тёплой стене, и стал думать

о том, о чём думать было необходимо.

Уйти. Он мог уйти сейчас: дверь не заперта, и в парке никого. До Петербурга – вёрст сорок пять, по морозу, ночью, со старой лодыжкой, которая на холоде уже напомнила о себе тупой болью над косточкой. Ни одной бумаги. И, если он не ошибался в годе, война со шведом, а он – человек без бумаг, назвавшийся гельсингфорсским, в двух шагах от дворца.

И главное. Главное лежало не в этих пунктах и перевешивало их все. Дверь была здесь. Камера, кольцо, северная щель – здесь, в тридцати шагах, под землёй. Единственная дорога назад, к Лёле, к Лузгину, к сыну, который ждал ответа на своё ноябрьское письмо, шла отсюда, и только отсюда. Уйти от Гатчины значило уйти от двери.

Он остался.

Есть минуты, когда человек, только что потерявший всё, продолжает жить по привычкам потерянного мира: думает «завтра надо бы», и следом за этим «надо бы» идёт имя человека, до которого теперь сто лет. Это не слабость. Привычка – последнее, что уходит, и уходит она по одной, как гости из дома, где случилось несчастье. Корсаков сидел в подклети, слушал, как за стеной трещат дрова, и отпускал их одну за другой.

III

Чёрное озеро. Ночь на 21 декабря, около часа.

Луна к часу стояла на юге, высоко над Приоратом, полная, белая и такая яркая, что, выйдя из подклети, он невольно

прищурился. Снег под ней светился. Тени лежали чёрные, резкие, как вырезанные ножницами. В такую ночь человека в снегу видно за версту.

Он это понимал. Но и ждать было нельзя: утром, когда его выведут, у него не должно быть при себе ничего, на чём стоит дата или чего здесь ещё не умеют делать.

В подклети он сделал опись на ощупь, как делают опись при обыске, по карманам, сверху вниз, ничего не пропуская. Часы. Ключ номер четырнадцать. Мелочь – несколько медных и серебряных монет с профилем, которого здесь ещё не чеканили, и годами, которые здесь ещё не наступили. Коробок спичек. Письмо сыну, во внутреннем кармане, у сердца. И, из кармана чужого пальто, – сложенный вчетверо листок, плотный, исписанный мелко, цифрами и датами; в темноте он разобрал только, что это столбцы, а в лунном свете у двери, наклонившись, прочёл верхнюю строку, карандашом, чётко: «1808–1809». Длинный считал окна. Он считал их на эту сторону – туда, куда так рвался.

Всё это было уликой. Всё, кроме рубля, тряпицы и иглы. Монеты и коробок он завязал в тряпицу из-под рубля, туго, узлом, и привязал узелок к кольцу ключа.

Он пошёл не прямо, не по открытому снегу, а вдоль стены, в тени, туда, где тень Приората лежала на склоне и спускалась к озеру. Лодыжка отзывалась на каждый шаг. У самого берега тень обрывалась, и дальше был лёд – белый, гладкий, светящийся, с синими языками там, где ветер сдул снег.

Шагах в ста от берега над льдом стоял пар. Тонкий, ровный, поднимавшийся столбом в неподвижном воздухе и пропадавший в лунном свете. Полынья. Он помнил её по своему году: Чёрное озеро не замерзло целиком, где-то в нём били ключи, и над открытой водой в морозные ночи всегда стоял этот пар. Значит, и сто лет назад били. Камни, вода и луна не менялись. Менялись двери и люди.

Идти к самой полынье он не стал. У открытой воды лёд тонок, а мокрый человек на морозе в такую ночь до утра не доживёт. Он прошёл по льду сколько решился, шагов шестьдесят, держась старых, вмёрзших тростников, где лёд толще, и встал. До пара оставалось шагов сорок.

Ключ с узелком он держал в руке, не бросая.

Это был самый обыкновенный ключ: железный, тяжёлый, с длинной бородкой и кольцом, к которому смотритель привязал жестяную бирку с выбитым номером. Ключ от двери в подпорной стене. Он сам расписывался за него в описи, раз двадцать за этот год, и Ипатий Кузьмич каждый раз сверял подпись с прежней: не переменялась ли за неделю. А бирка с номером, которого не было ни в одной описи этого века, при первом же обыске стала бы вопросом, на который нет ответа.

Он размахнулся и бросил.

Ключ полетел высоко, узелок мотнулся за ним, как хвост, железо вспыхнуло на самом верху, где его ещё доставала луна, и всё ушло в пар. Короткий всплеск – и тишина. Это была последняя вещь, которая знала, где дверь.

Оставалось письмо.

Он достал его, сложенное вдвое, в простом конверте, без марки. Письмо было ответом на ноябрьское письмо сына, и сын в ноябре писал: «отвечай быстрее, чем в прошлый раз». Он писал ответ три вечера. Двадцать пятого, в пятом часу, северным окном, которое Звягин считал по чужому небу, его должны были передать. Там, у себя, он передал бы его завтра.

Он развернул письмо, чтобы порвать.

Порвать было правильно. Мелкие клочки в полынью, и нет ни улики, ни вопроса. Он взялся двумя руками за край – и увидел внизу, под последней строкой, свой собственный почерк, крупнее, чем всё письмо: «Гатчина. Приорат. 24 декабря 1908 года».

Обратный адрес.

Два с лишним года назад сын сказал ему в последней строке, которую он помнил лучше всех строк, сказанных ему в жизни: ты обратный адрес не написал, пришлось самому. С тех пор он писал. Каждый раз. Это была единственная вещь в его жизни, которую он делал по просьбе сына, а не по своему разумению.

Он сложил письмо обратно, тем же сгибом, и сунул за пазуху.

Обратно он шёл медленнее. Старая лодыжка, сросшаяся три года назад, теперь не ныла, а дёргала: при каждом шаге левой ногой по льду в неё словно вбивали гвоздь. Колено, ушибленное о камни кольца, вторило ей. Он ступал так, как

привык ступать с девятьсот пятого года, – семьдесят на правую, тридцать на левую. Дважды он останавливался в тени и слушал. Парк молчал. Только где-то далеко, за дворцом, лаяла собака, и над озером, тонко, звеня, трескался лёд.

В подклети он зашил всё в подкладку длинного пальто – письмо, листок с расчётом, часы. Иголка была здешняя, грубая, нитка суровая, пальцы не слушались на морозе. Игла дважды выскальзывала и падала на земляной пол, и оба раза он находил её по блеску, на коленях, в полоске лунного света из-под двери. Шил он плохо, крупными стежками, но держалось.

Пальто он свернул и сунул под лавку. Тулуп оставил на себе.

Лёг он не сразу. Сидел, привалившись спиной к тёплой стене, и смотрел на полоску света под дверью, которая ползла по полу, по мере того как луна опускалась к западу. Где-то там, наверху, далеко, была Лёля. Не наверху, конечно. Через сто лет. Но думалось почему-то – наверху.

Об этом он думать запретил себе сразу и строго, как запрещал на прежней службе думать о доме в командировке. Так, хватит. Утром – выход. Днём – люди. Вечером – посмотрим. К бою.

Он заснул сидя.

IV

Приоратский парк. 21 декабря, понедельник, перед рассветом.

Разбудил его колокол.

Звонили где-то за деревьями, в темноте, мерно и неторопливо, как звонят в будний день к службе, без праздничной поспешности. Корсаков сел, не сразу поняв, где он. Потом понял. Тело затекло. Старая лодыжка за ночь на льду распухла и сидела в сапоге туго, как чужая.

Дверь открылась, и в подклеть вошёл давешний человек, с фонарём, в котором за слюдой горела свеча. В другой руке у него была глиняная кружка, и от кружки шёл пар.

— Пей.

Это был сбитень, горячий, с мёдом и чем-то пряным. Корсаков пил и при свете фонаря наконец разглядел лицо: широкое, тёмное, с сивой бородой и глубокими складками у глаз, лицо человека, который всю жизнь провёл на воздухе. Лицо было спокойным и ничего не выражало. Глаза в его сторону человек не поднимал.

Человек поставил фонарь на пол и прикрыл его ладонью, чтобы свет не бил в глаза. Корсаков смотрел на эту ладонь. Лица он через кисель не видел. Видел жест – вот такой же, по ту сторону мути. Жест мог быть чей угодно: так прикрывает свет всякий, кто привык ходить с фонарём. Он отметил сходство и не стал называть его тождеством.

— Пора, – поторопил человек. – Пока светать не начало.

— Куда?

Человек не ответил. Он подобрал узел, который Корсаков оставил на лавке, сунул туда остаток хлеба и протянул.

— Пальто там ещё, — напомнил Корсаков. — Под лавкой.

Человек нагнулся, достал пальто, развернул, оглядел. Корсаков видел, как его пальцы прошлись по подкладке, задержались на крупных стежках — и пошли дальше. Человек свернул пальто и положил на руку, как кладут вещь, которую несут за баринком.

Они вышли.

Было ещё темно, но уже не так, как ночью: небо на востоке, над лесом, посерело, луна ушла за деревья, и снег лежал не белый, а сизый. Мороз к утру окреп, и при каждом вдохе в носу слипалось. Человек шёл впереди, по тропе вдоль кухни, мимо поленниц, мимо тёмной избы, к аллее.

— Двор нынче не тут, — заговорил он, не оборачиваясь, так, как говорят о погоде. — При дворце одни сторожа. Да караул.

Корсаков промолчал.

— За государя Александра Павловича молимся, — прибавил человек, помолчав. — И за войско. Шведа воюем. Скажешь — из Гельсингфорса. Там нынче шведа нет. Наши взяли.

Это было сказано так же ровно, как «пей» и «пора», но Корсаков понял: это не разговор. Это продолжение того, что было сказано шёпотом в темноте, — вторая половина наставления. Его учили.

Александр Павлович — значит, Павла уже нет. Война со шведом. Гельсингфорс взят. Он мысленно перебирал кар-

точки: Финляндия, восьмой год, девятый. Сто лет. Гипотеза держалась. Знанием она станет, когда он увидит год на бумаге, написанный чужой рукой, но держалась она уже крепко.

Они вышли на аллею. Здесь снег был утоптан – по аллее ходили. Липы стояли по обе стороны, чёрные, высокие, и между ними, впереди, серела гладь пруда.

Человек остановился, будто прислушиваясь. Корсаков тоже остановился.

— Туда иди. — Человек кивнул вперёд, по аллее. — Прямо. Корсаков сделал шагов пять, глядя на серую гладь пруда. Обернулся.

Человека не было.

Не было ни на аллее, ни на тропе, по которой они пришли. Между лип, в сторону, уходила узкая стёжка, протоптанная по колено, — дрова носить или воду, — и человек, видно, ушёл по ней, пока Корсаков смотрел на пруд. Ушёл вместе с фонарём, узлом и чужим пальто.

Пальто. Пальто с письмом и часами в подкладке.

Корсаков стоял на аллее. Его провели, как ребёнка. Накормили, обогрели, вывели на дорогу, отобрали единственное, что у него было, и исчезли. Он шагнул было к стёжке — и увидел пальто.

Оно лежало под липой, у самого ствола, свёрнутое, аккуратно, поверх узла. Человек положил его там, у него за спиной, и ушёл.

Подняв пальто, Корсаков прежде всего ощупал подклад-

ку. Пальцы нашли знакомые грубые стежки. Только тогда он выпрямился.

С той стороны пруда, по аллее, навстречу ему, хрустя снегом, шёл солдат.

Солдат был немолод, в серой шинели до пят, с ружьём на плече, и шёл он так, как ходят старые солдаты, которым некогда спешить и незачем: вразвалку, глядя под ноги. За три шага до Корсакова он поднял глаза, остановился и стал смотреть — долго, снизу вверх, начиная с сапог, по тулупу, по торчащим из рукавов манжетам, до самого лица, — и лицо его по мере этого медленного подъёма выражало всё большее изумление и всё меньшее желание что-либо делать.

— Стой, — сказал он наконец. Без всякой надобности: Корсаков стоял. — Кто таков?

Корсаков открыл рот — и вдруг ясно понял, что не знает, кто он. У него не было имени. Был город, в котором бумаги сгорели, и рубль в хлебе.

— Из Гельсингфорса.

Слова были не его. Он сказал их, потому что других не было.

Солдат молчал. Потом посмотрел на рукава.

— Что ж ты, швед, в чужом тулупе-то? — спросил он с укоризной, как спрашивают у мальчишки, надевшего отцовы сапоги.

Корсаков подумал, что смеяться сейчас нельзя, бежать некуда, а объяснять нечего, и выбрал единственное, что оста-

валось: подобрал пальто, узел и пошёл туда, куда солдат показал ружьём. Солдат шёл сзади. Через сотню шагов он заметил, что пленник хромает, и недовольно сопел у него за спиной.

— Шведы-то нынче, — проворчал он, ни к кому не обращаясь, — не то что прежде. Я под Фридрихсгамом стоял, в девяностом. Вот там были шведы — во. А нынче — хромые.

Глава вторая. Опись



I

Гатчина, караульня у парковых ворот. 21 декабря 1808 года, понедельник, утро.

Караульня была низкая, бревенчатая, в одно окно, с печью в углу, такой большой, что казалось, будто караульню построили к печи, а не печь поставили в караульне. Пахло в ней махоркой, мокрым сукном и щами. На лавке вдоль стены сидели трое солдат, такие же немолодые, как тот, что привёл

Корсакова, и при его появлении все трое повернули головы одинаково медленно, как поворачиваются подсолнухи.

— Вот, — доложил провожатый. — Швед. У пруда взял.

— Чего ж он у пруда делал? — спросил один.

— А я почём знаю. Стоял.

Унтер-офицер, седой, с лицом, похожим на печёное яблоко, сидел за столом под образом и писал. Он поднял глаза, оглядел Корсакова от валенок, которых не было, до шапки, которой тоже не было, задержался на рукавах и снова опустил глаза в книгу.

— Посади.

Корсакова посадили на край лавки, у двери. Пальто и узел у него отобрали и положили на стол перед унтером. Унтер развязал узел, понюхал хлеб, положил обратно. Пальто развернул, встряхнул, оглядел подкладку на свет — Корсаков смотрел на его руки и не дышал, — и свернул снова. Стежков он не заметил или не придал им значения: старое пальто, кто его не латал.

Один из солдат налил в кружку воды из ведра у печи и, не говоря ни слова, сунул её Корсакову. Корсаков взял.

— Благодарю вас, — сказал он.

Он сказал это так, как говорил тысячу раз, в другой жизни, официанту, водителю, дежурному на проходной. Не думая.

В караульне стало тихо. Солдат, подавший воду, был моложе остальных, с рябым круглым лицом. Он постоял, глядя

на Корсакова сверху вниз, и лицо его медленно наливалось краской.

— Ты чего это? – спросил он тихо.

— Воды дали – поблагодарил.

— Ты, швед, надо мной не смейся.

И прежде, чем Корсаков понял, что произошло, приклад ткнул его в плечо – не сильно, без замаха, но так, что кружка выплеснулась ему на колени. Удар был не злой, а воспитательный, каким учат собаку не лезть на стол.

— Фомин, – сказал унтер, не поднимая головы.

— А чего он «вы» мне говорит? Я ему кто – барин?

— Сядь.

Фомин сел. Корсаков вытер колени рукавом тулупа, который не доставал до колен. Первый урок нового века стоил дешевле, чем мог бы. Мужик в тулупе говорит солдату «вы» и «благодарю» только в одном случае: когда смеётся над ним. Он запомнил. Запоминать он умел.

Солдаты говорили между собой о шведе. Не о нём – о войне. Что шведа под Гельсингфорсом побили ещё весной, а он всё лезет; что в Або, сказывают, вешали каких-то; что летось у государыни во дворце ловили шпиона – француза или шведа, кто их разберёт, – и не поймали; что за шпиона дают награду, а за пойманного шведа – так, похвалу. Корсаков слушал: награду за шпиона здесь получить легче, чем похвалу за шведа, и каждый из сидящих на лавке это понимал.

Унтер дописал и повернул книгу к свету. Корсаков сидел

у двери и с места прочесть не мог, но унтер, видно, был горд своим почерком и, вставая, оставил книгу открытой. Когда его повели мимо стола к саням, он скосил глаза.

Декабря 21 дня 1808 года. Взятъ у пруда неизвѣстный, называющій себя Гельсингфорскимъ уроженцемъ, безъ вида. Представленъ въ Правленіе.

Тысяча восемьсот восьмой.

Он прочёл это так, как читают в газете собственную фамилию в списке погибших. Гипотеза стала знанием, и от этого ничего не изменилось, кроме одного: больше не было надежды, что он ошибся.

В правление его повезли на дровнях, сидя, между двумя солдатами, и Корсаков впервые увидел Гатчину днём.

Светало поздно. Солнце вставало где-то за лесом, красное, сплюснутое морозом, и всё вокруг было розовым и голубым: снег, стволы лип, дым над трубами, сам воздух. Дровни шли по аллее, потом по прямой улице, обсаженной молодыми деревьями, мимо длинного жёлтого здания с колоннами, мимо полосатой будки у шлагбаума, мимо деревянных домов с резными наличниками, у которых женщины в платках скалывали лёд у колодцев. Город был маленький, чистый и тихий, как будто его недавно вымыли и поставили сушиться на мороз. Он знал Гатчину своего века – станцию, вокзальную площадь, извозчиков, дачников, которые ругались с извозчиками, – и не узнавал ничего. Кроме дворца.

Дворец стоял над парком, длинный, светлый, с двумя баш-

нями, и он был тот же. Корсаков смотрел на него, пока дровни не свернули, и чувствовал странное облегчение, какое чувствуют в чужом городе, увидев знакомое лицо. Пусть это лицо его и не узнало.

Возница, мужик в овчинном треухе, всю дорогу молчал, а у самого правления обернулся и спросил у солдат, кивнув на Корсакова:

— Это кто ж такой?

— Швед, – ответил Фомин.

— Пленный?

— Сам пришёл.

Возница подумал.

— Ну, – сказал он, трогая лошадь, – раз сам, значит, не пленный. Значит, гость. – И, поразмыслив ещё, заключил: – Худой гость. Без шапки.

II

Гатчина, правление. 22 декабря, вторник.

Опись начали только на другой день, потому что чина, которому полагалось присутствовать при описи, в понедельник не было: он был в Петербурге по делам и вернулся к вечеру. Ночь Корсаков провёл в сенях правления, на лавке, под присмотром сторожа, который всю ночь не спал и смотрел на него, а утром сказал, что сроду таких длинных шведов не видал, и спросил, все ли там такие.

— Нет, – ответил Корсаков.

— Это хорошо, – одобрил сторож. – А то бы нас побили.

Комната, в которой делали опись, была казённая, вымытая, с голыми стенами, крашенными в тот грязно-жёлтый цвет, который, по-видимому, придумали для присутственных мест ещё при Петре и с тех пор не меняли. За столом, на стуле с высокой спинкой, сидел копиист – лет тридцати, тощий, в сюртуке с протёртыми локтями, с пальцами, чёрными от чернил до второго сустава, и с носом, который на морозе краснел, видимо, раньше, чем всё остальное. У стены, на лавке, сидели двое понятых: лавочник из Гатчинской слободы, толстый, в купеческой поддёвке, и маленький сапожник с руками, сложенными на коленях, как у ребёнка в церкви. Оба были недовольны, что их оторвали от дела, и не скрывали этого.

Чин вошёл последним. Он был в мундире, с крестом в петлице, с лицом скучным и сытым, и сразу встал у окна, спиной к столу, – посмотреть на двор, где лошадь, впряжённая в сани, переминалась и выдыхала пар.

— Пиши, Сморчков, – велел он окну. – Опись вещей, найденных при неизвестном, взятом и так далее, при понятых таких-то. Сам знаешь.

— Знаю, ваше благородие.

Копиист обмакнул перо и стал писать быстро и красиво, с завитками, не глядя на бумагу. Корсаков стоял у стола, перед разложенными вещами.

— Тулуп овчинный, нагольный, поношенный, – диктовал чин окну, хотя тулупа не видел. – Сюртук... Сморчков, какой

сюртук?

— Суконный, ваше благородие. Тёмный. Покроя... — Копиист поднял на Корсакова глаза, светлые, водянистые, и посмотрел на сюртук с тем выражением, с каким смотрят на дурно переписанную бумагу. — Покроя нездешнего.

— Так и пиши. Что ещё?

— Пальто, ваше благородие. Без пуговиц, с поясом.

— Тоже нездешнего?

— Так точно, ваше благородие.

— Пиши. Хлеба полкаравая. Деньги есть?

— Нету, ваше благородие.

Рубль Корсаков вынул из хлеба ещё ночью, в сенях, и держал теперь в кулаке, в правой руке, опущенной вдоль тела. Он сделал это, не зная зачем, так, как берут в руку камень в незнакомом переулке, — на всякий случай.

— Пиши: денег не найдено. Бумаг?

Сморчков отложил перо и стал складывать пальто — так, как положено складывать описанную вещь, чтобы перевязать бечёвкой и опечатать. Он взял его за плечи, встряхнул, сложил вдоль, потом поперёк. И, складывая поперёк, провёл ладонью по подкладке.

Ладонь остановилась.

Корсаков видел это движение так ясно, как видят в лупу. Пальцы копииста нащупали под подкладкой твёрдое — пачку бумаги и что-то круглое, плоское, тяжёлое. Он не видел, что это. Он только нащупал. Копиист поднял глаза на Корсакова.

Чин у окна смотрел на лошадь. Понятые у печи – лавочник грел руки, сапожник смотрел на свои колени.

Корсаков шагнул к столу.

— Позвольте, – сказал он вполголоса, – подсоблю. Тяжёлое.

И взялся за другой край пальто, так, как помогают сложить простыню. Правая рука его ушла в складку, и, когда она вышла оттуда пустой, рубль лежал в складке сукна, под пальцами копииста.

Он не знал, что сделает Сморчков. Он поставил на одну ставку всё, что у него было, включая письмо сыну, и знал, что поставил плохо. Подкупать при свидетелях – последнее дело, так учили его в другой жизни, и так было правильно. Но свидетели смотрели в окно и на колени, а у копииста было лицо человека, которому за год не давали в руки рубля серебром.

Лицо копииста не изменилось. Только в водянистых глазах что-то переставилось, как переставляют костяшки на счётах, быстро и без звука. Объявить находку – значит, найдёт её чин, и чину будет благодарность, а ему, копиисту, ничего, кроме лишней бумаги. Рубль – его. Так, по крайней мере, это выглядело со стороны: счёт был сделан за одну секунду, и не в пользу закона.

Сморчков дотянул складку, положил ладонь на сукно – туда, где был рубль, – и снял пальто со стола на колени, будто для удобства, чтобы перевязать. Когда пальто снова легло на

стол, рубля в складке не было.

Копиист обмакнул перо. Рука его дрогнула и посадила на бумаге кляксу. Он посыпал её песком, стряхнул и дописал под ней ровно:

«Бумагъ при немъ не найдено».

— Не найдено, ваше благородие, – доложил он.

— Пиши, – отозвался чин. – Вещи опечатать, задержанного в холодную до выяснения. Понятые, подпишитесь.

Лавочник подписался размашисто, с купеческим росчерком. Сапожник поставил крест, долго примериваясь, и Сморчков приписал рядом, за него, ту формулу, которую писал, должно быть, сто раз в год.

Пальто перевязали бечёвкой, и Сморчков капнул на узел сургучом и приложил печать. Корсаков смотрел, как оседает под печатью сургуч, и думал, что теперь его письмо сыну опечатано казённой печатью правления тысяча восемьсот восьмого года. Если бы ему кто-нибудь сказал об этом неделю назад, он бы не поверил. Если бы ему сказали, что он заплатит за это рублём, – тем более.

Есть бумаги, которые пишутся затем, чтобы помнить, и бумаги, которые пишутся затем, чтобы забыть. Опись – из первых: в ней всё, что было при человеке, и сто лет спустя по ней можно восстановить, что он носил, ел и прятал. Но в каждой второй описи есть строка из вторых – одна, незаметная, написанная тем же почерком и с теми же завитками, – и на этой строке держится чья-то жизнь. Писарь, который её

написал, о ней забывает. Человек, ради которого она написана, не забывает никогда.

III

Холодная при правлении. 22–23 декабря.

Холодная оправдывала своё название. Это была каменная клеть в подвале, с окном под потолком, забранном решёткой, через которое было видно ноги прохожих, колёса саней и снег. Вдоль стены тянулись нары, по углу – ушат, накрытый доской. Печи не было. Тепло шло только от стены, за которой, судя по запаху, была кухня сторожа, и от людей.

Людей было двое.

Один – парень лет девятнадцати, кудлатый, вертлявый, в армяке, подпоясанном верёвкой, с весёлыми глазами человека, которого быют часто и который относится к этому как к погоде. Его звали Митька, и он сообщил это сразу, а потом, подумав, сообщил, что на самом деле его зовут не Митька, но это неважно. Он был беглый – откуда, не сказал, сказал только «из-под Луги, от барина», – и его взяли три дня назад на ярмарке, когда он продавал чужую уздечку.

Второй был старик, нищий, с белой бородой и слезящимися глазами, в лохмотьях, которые когда-то были армяком, кафтаном и шубой одновременно. Он сидел в углу на нарах, держал на коленях холщовую суму и не говорил ничего. Митька объяснил, что старик глуховат и что его взяли за то, что он просил на паперти без билета. «А билет-то у него был, – прибавил Митька, – только он его на паперти и потерял.

Вот и выходит: просил без билета».

Корсаков сел на нары у стены, ближе к тёплой стороне. Митька подсел к нему.

— Ты чей?

— Сам по себе.

— Так не бывает, дядя. Ты откуда?

— Из Гельсингфорса.

Митька посмотрел на него с уважением.

— Издалёка. А звать как?

Корсаков молчал. Митька кивнул так, будто получил исчерпывающий ответ.

— Правильно. Ты, дядя, главное, имени не говори. Имя – это верёвка. Скажешь имя – по имени найдут, кто ты, чей ты и откуда сбёг. А нет имени – и верёвки нет. Не помню, мол, и всё. Голову, мол, ушиб. – Он постучал себя по лбу. – Я вот всегда говорю – не помню. Третий раз уже говорю.

— Помогает?

— Пока да, – ответил Митька с полным удовлетворением. – Пока не вспомнили.

Он оглядел Корсакова оценивающе, с головы до ног, как оглядывают новичка в артели, которого придётся учить.

— Ты, дядя, вот что. Ты как их звать будешь?

— Кого?

— Да их. Чинов. – Митька кивнул на дверь. – Ты ж не знаешь. По тебе видать: не знаешь. Слушай. Кто в сюртуке и при пуговицах – тот «ваше благородие». Кто при кресте и

толстый – тот «ваше высокоблагородие», и ему кланяйся ниже. Кто при звезде – тот «ваше превосходительство», только ты его не увидишь, они в холодную не ходят. Караульному – никак. Караульному молчи. Писарю тоже никак, писарь сам скажет, кто он. А попу – батюшка.

— А если не знаешь, кто в чём?

— Тогда – ваше благородие, – подытожил Митька. – Лишнее благородие не обидит. Обидит недостающее.

Корсаков подумал, что этому учили его и в другой жизни, другими словами и за большие деньги, и что Митька изложил суть короче и лучше любого инструктора.

Это был первый совет, полученный им в этом веке, и, пожалуй, не худший.

К ночи холод забрался в кости. Корсаков лежал на нарах, подтянув колени, укрывшись тулупом, который не укрывал ничего, и слушал, как в груди у него, где-то под ключицей, начинает поскрипывать – тот первый, ещё не настоящий кашель, который приходит после ночи на льду. Митька спал, свернувшись, как кошка, и во сне улыбался. Старик не спал. Корсаков слышал, как он ворочается и вздыхает в своём углу.

Под утро старик встал. Он прошаркал к двери, постучал в неё костяшками – тихо, робко, как стучат в дверь, за которой могут рассердиться, – и сказал в щель, слабо, дребезжаще:

— Водицы бы. Христа ради.

Дверь открылась не сразу. Потом открылась, и в проёме

встал караульный – не из тех инвалидов, что были в караульне, а здешний, правленский, в тулупе, с фонарём, злой со сна.

— Чего?

— Водицы.

Караульный посмотрел на старика, на нары, на спящих. Потом пнул старика в живот – не сильно, но точно, так, что тот сел на пол у двери, – и захлопнул дверь. Засов лязгнул.

Корсаков поднялся с нар.

Он поднялся раньше, чем подумал, – тело сделало это само, как вчера на мокрых плитах, – и шагнул к двери. И остановился.

Что он скажет? Что караульный не имеет права? Здесь – имеет. Что старику нужна вода? Караульный это знает. Что он, неизвестный, называющий себя гельсингфорсским уроженцем, задержанный по подозрению, стучит в дверь холодной и требует воды для нищего? Это будет первое, что запишут в журнал рядом со словом «швед». Любое слово, сказанное им сейчас, ляжет в бумагу и останется там, и он ещё не знал, кто и когда эту бумагу прочтёт.

Он стоял у двери и смотрел на старика, который сидел на полу и тихо, без жалобы, держался за живот.

Потом вернулся на нары и сел.

Теперь он сидел. И знал, что будет сидеть ещё не раз.

Утром, когда принесли хлеб, он отдал старику свою долю. Старик взял, не глядя, и стал есть, отщипывая крошки и

держа их на ладони, как держат что-то драгоценное.

IV

Там же. 23 декабря, среда, вечер.

Вечером дверь открылась, и в холодную заглянул дежурный писарь – молодой, с пухлыми щеками, с пером за ухом, – держа фонарь высоко, словно заглядывал в погреб.

— Который тут гельсингфорский?

Корсаков поднял голову.

— Ты. – Писарь оглядел его. – Завтра к тебе будет их благородие Чеботарёв. С утра.

— Кто это?

Писарь посмотрел на него с жалостью, как на человека, который не знает, что такое мороз.

— Чеботарёв-то? – Писарь искал слово. – Он шведов чует. Как собака. Уж кто у него был, тот потом всё вспоминал. И имя, и откуда, и чего не было.

— А чего не было – это как?

— А так, – охотно объяснил писарь. – Кто долго у него сидит, тот и чего не было вспомнит. Лишь бы отпустил.

Дверь закрылась. Митька, слушавший это с нар, присвистнул.

— Плохо дело, дядя. Чеботарёв. Я про него слышал. Он, говорят, бумагу читает, как поп Евангелие, – по три раза.

— Чем?

— А тем. Кто бумагу читает по три раза, тот и в человеке три раза ищет.

Корсаков лёг на спину и смотрел на окно под потолком, где в темноте ещё угадывалась решётка. Где-то за стеной сторож гремел посудой и пел что-то вполголоса, протяжное, со словами, которых не разобрать. Завтра был сочельник. У него – то есть там, у себя – сочельник был вчера, три дня назад, сто лет вперёд, и вчера в это время он ехал с Лузгиным из Петербурга, и Лузгин рассказывал про жену, которая не пустит его домой, если он не будет к звезде.

Лузгин к звезде не успел. Больше в тот вечер он о Лузгине не думал.

Он оторвал от подола тулупа торчащую нитку и намотал её на палец. Потом стал считать. До девятнадцатого января – по расчёту длинного – оставалось двадцать семь дней. Он считал на пальцах, загибая их по одному, и, когда пальцы на обеих руках закончились, начал снова. Нитка на пальце была грубая, суровая, такая же, какой он зашивал подкладку.

Он намотал её ещё на один виток и заснул.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.